



**МАРИНА ИВАНОВНА**

# ЦВЕТАЕВА

*ПОВЕСТЬ  
О СОНЕЧКЕ*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

р у с с к а я    к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Марина Цветаева  
**Повесть о Сонечке**

«Издательство АСТ»

1937

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Цветаева М. И.**

Повесть о Сонечке / М. И. Цветаева — «Издательство АСТ»,  
1937 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-155156-8

«Повесть о Сонечке» Цветаева написала в эмиграции в память о своей подруге, актрисе второй студии Вахтангова Софье Голлидэй, с которой провела в Москве весну 1919 года. В этой автобиографической повести фигурируют многие известные люди столицы 1917–1919 годов, окружавшие Цветаеву: Евгений Вахтангов, Юрий Завадский, Павел Антокольский. Посвященные им стихотворения, а также цикл «Стихи к Сонечке», дополнили состав сборника.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-155156-8

© Цветаева М. И., 1937  
© Издательство АСТ, 1937

## Содержание

Часть первая. Павлик и Юра	6
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Екатерина Великая Мемуары

© ООО «Издательство АСТ», 2023

\* \* \*

## Часть первая. Павлик и Юра

*Elle était pâle – et pourtant rose,  
Petite – avec de grands cheveux...<sup>1</sup>*

Нет, бледности в ней не было никакой, ни в чем, все в ней было – обратное бледности, а все-таки она была – *pourtant rose*<sup>2</sup>, и это своеместно будет доказано и показано.

Была зима 1918–1919 г., пока еще зима 1918 г., декабрь. Я читала в каком-то театре, на какой-то сцене, ученикам Третьей студии свою пьесу «Метель». В пустом театре, на полной сцене.

«Метель» моя посвящалась: – Юрию и Вере З., их дружбе – моя любовь. Юрий и Вера были брат и сестра, Вера в последней из всех моих гимназий – моя соученица: не одноклассница, я была классом старше, и я видела ее только на перемене: худого кудрявого девичьеского щенка, и особенно помню ее длинную спину с полуразвитым жгутом волос, а из встречного видения, особенно – рот, от природы – презрительный, углами вниз, и глаза – обратные этому рту, от природы смеющиеся, то есть углами вверх. Это расхождение линий отдавалось во мне неизъяснимым волнением, которое я переводила ее красотой, чем очень удивляла других, ничего такого в ней не находивших, чем безмерно удивляли – меня. Тут же скажу, что я оказалась права, что она потом красавицей – оказалась и даже настолько, что ее в 1927 г., в Париже, труднобольную, из последних ее жил тянули на экран.

С Верой этой, Вере этой я никогда не сказала ни слова и теперь, девять лет спустя школы надписывая ей «Метель», со страхом думала, что она во всем этом ничего не поймет, потому что меня наверное не помнит, может быть, никогда и не заметила.

(Но почему Вера, когда Сонечка? А Вера – корни, доистория, самое давнее Сонечкино начало. Очень коротенькая история – с очень долгой доисторией. И поисторией.)

Как Сонечка началась? В моей жизни, живая, началась?

Был октябрь 1917 г. Да, тот самый. Самый последний его день, то есть первый по окончании (заставы еще догромахивали). Я ехала в темном вагоне из Москвы в Крым. Над головой, на верхней полке, молодой мужской голос говорил стихи. Вот они:

И вот она, о ком мечтали деды  
И шумно спорили за коньяком,  
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,  
К нам ворвалась – с опущенным штыком!

И призраки гвардейцев-декабристов  
Над снеговой, над пушкинской Невой  
Ведут полки под переклик горнистов,  
Под зычный вой музыки боевой.

Сам император в бронзовых ботфортах  
Позвал тебя, Преображенский полк,  
Когда в заливах улиц распростерты  
Лихой кларнет – сорвался и умолк...

---

<sup>1</sup> Она была бледной – и все-таки розовой, Малюткой – с пышными волосами (*фр.*).

<sup>2</sup> Тем не менее розовой (*фр.*).

И вспомнил он, Строитель Чудотворный,  
Внимая петропавловской пальбе —  
Тот сумасшедший – странный – непокорный, —  
Тот голос памятный: – Ужо Тебе!

– Да что же это, да чье же это такое, наконец?

– Автору – семнадцать лет, он еще в гимназии. Это мой товарищ Павлик А.<sup>3</sup>

Юнкер, гордящийся, что у него товарищ – поэт. *Боевой* юнкер, пять дней дравшийся. От поражения отыгрывающийся – стихами. Пахнуло Пушкиным: *теми* друзьями. И сверху – ответом:

– Он очень похож на Пушкина: маленький, юркий, курчавый, с бачками, даже мальчишки в Пушкине зовут его: Пушкин. Он все время пишет. Каждое утро – новые стихи.

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти,  
Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть  
Твои глаза...

– А это – из «Куклы Инфанта», это у него пьеса такая. Это Карлик говорит Инфанте. Карлик любит Инфанту. Карлик – он. Он, правда, маленький, но совсем не карлик.

...Единая под множеством имен...

Первое, наипервейшее, что я сделала, вернувшись из Крыма – разыскала Павлика. Павлик жил где-то у Храма Христа Спасителя, и я почему-то попала к нему с черного хода, и встреча произошла на кухне. Павлик был в гимназическом, с пуговицами, что еще больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. Маленький Пушкин, только – черноглазый: Пушкин – легенды.

Ни он, ни я ничуть не смутились кухни, нас толкнуло друг к другу через все кастрюльки и котлы – так, что мы – внутренне – звякнули, не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде землетрясения. По тому, как я поняла, кто он, он понял, кто я. (Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи.)

Простояв в магическом столбняке – не знаю сколько, мы оба вышли – тем же черным ходом, и заливаясь стихами и речами...

Словом, Павлик пошел – и пропал. Пропал у меня, в Борисоглебском переулке, на долгий срок. Сидел дни, сидел утра, сидел ночи... Как образец такого сидения приведу только один диалог.

Я, робко: – Павлик, как Вы думаете – можно назвать – то, что мы сейчас делаем – мыслью?

Павлик, еще более робко: – Это называется – сидеть в облаках и править миром.

У Павлика был друг, о котором он мне всегда рассказывал: Юра З. – «Мы с Юрой... Когда я прочел это Юре... Юра меня все спрашивает... Вчера мы с Юрой нарочно громко целовались, чтобы подумали, что Юра, наконец, влюбился... И подумайте: студийцы выскакивают, а вместо барышни – я!!!»

В один прекрасный вечер он мне «Юру» – привел. – А вот это, Марина, мой друг – Юра З. – с одинаковым напором на каждое слово, с одинаковым переполнением его.

---

<sup>3</sup> Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) – русский советский поэт, переводчик и драматург, театральный режиссер (примеч. ред.).

Подняв глаза – на это ушло много времени, ибо Юра не кончался – я обнаружила Верины глаза и рот.

– Господи, да не брат ли вы... Да, конечно, вы – брат... У вас не может не быть сестры Веры!

– Он ее любит больше всего на свете!

Стали говорить Юрий и я. Говорили Юрий и я, Павлик молчал и молча глотал нас – вместе и нас порознь – своими огромными тяжелыми жаркими глазами.

В тот же вечер, который был – глубокая ночь, которая была – раннее утро, расставшись с ними под моими тополями, я написала им стихи, им вместе:

Спят, не разнимая рук —  
С братом – брат, с другом – друг,  
Вместе, на одной постели...  
Вместе пили, вместе пели...

Я укутала их в плэд,  
Полюбила их навеки,  
Я сквозь сомкнутые веки  
Странные читаю вести:  
Радуга: двойная слава,  
Зарево: двойная смерть.

Этих рук не разведу!  
Лучше буду, лучше буду  
Полымем пылать в аду!

Но вместо полымя получилась – Метель.

Чтобы сдержать свое слово – не разводить *этих* рук – мне нужно было свести в своей любви другие руки: брата и сестры. Еще проще: чтобы не любить *одного* Юрия и этим не обездолить Павлика, с которым я могла только «совместно править миром», мне нужно было любить Юрия плюс еще что-то, но это что-то не могло быть Павликом, потому что Юрий плюс Павлик были уже данное, – мне пришлось любить Юрия плюс Веру, этим Юрия как бы рассеивая, а на самом деле – усиливая, сосредоточивая, ибо все, чего нет в брате, мы находим в сестре и все, чего нет в сестре, мы находим в брате. Мне досталась на долю ужасно полная, невыносимо полная любовь. (Что Вера, больная, в Крыму и ничего ни о чем не знает – дела не меняло.)

Отношение с самого начала – стало.

Было молча условлено и установлено, что они всегда будут приходить вместе – и вместе уходить. Но так как ни одно отношение сразу стать не может, в одно прекрасное утро телефон: – Вы? – Я. – А нельзя ли мне когда-нибудь прийти к вам без Павлика? – Когда? – Сегодня.

(Но где же Сонечка? Сонечка – уже близко, уже почти за дверью, хотя по времени – еще год.)

Но преступление тут же было покарано: нам с З. наедине было просто скучно, ибо о главном, то есть мне и нем, нем и мне, нас, мы говорить не решались (мы еще лучше вели себя с ним наедине, чем при Павлике!), все же остальное – не удавалось. Он перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты, а я – даже про Веру ему говорить не смела, до того Вера была – он. Так и сидели, неизвестно что высиживая, высиживая единственную минуту прощания, когда я, проводив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову, – да

ничего, только взгляд: – да? – нет – может быть да? – пока еще – нет – и двойная улыбка: его восторженного изумления, моя – нелегкого торжества. (Еще одна такая победа – и мы разбиты.)

Так длилось год.

Своей «Метели» я ему тогда, в январе 1918 г., не прочла. Одарить одиноко можно только очень богатого, а так как он мне за наши долгие сидения таким не показался, Павлик же – оказался, то я и одарила его Павлика – в благодарственную отместку за «Инфанту», тоже посвященную не мне – для Юрия же выбрала, выждала самое для себя трудное (и для себя бы – бедное) чтение ему вещи перед лицом всей Третьей студии (все они были – студийцы Вахтангова, и Юрий, и Павлик, и тот, в темном вагоне читавший «Свободу» и потом сразу убитый в Армии) и, главное, перед лицом Вахтангова, их всех – Бога и отца-командира.

Ведь моей целью было одарить его возможно больше, больше – для актера – когда людей больше, ушей больше, очей больше...

И вот, больше года спустя знакомства с героем, и год спустя написания «Метели» – та самая полная сцена и пустой зал.

(Моя точность скучна, знаю. Читателю безразличны даты, и я ими врежу художественности вещи. Для меня же они насущны и даже священные, для меня каждый год и даже каждое время года тех лет явлен – лицом: 1917 г. – Павлик А., зима 1918 г. – Юрий З., весна 1919 г. – Сонечка... Просто не вижу ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся единицы и девятки... Моя точность – моя последняя, посмертная верность.)

Итак – та самая полная сцена и пустой зал. Яркая сцена и черный зал.

С первой секунды чтения у меня запылало лицо, но – так, что я боялась – волосы загорятся, я даже чувствовала их тонкий треск, как костра перед разгаром.

Читала – могу сказать – в *алом* тумане, не видя тетради, не видя строк, наизусть, на авось читала, единым духом – как пьют! – но и как поют! – самым певучим, за сердце берущим из своих голосов.

...И будет плыть в пустыне графских комнат  
Высокая луна.  
Ты – женщина, ты ничего не помнишь.  
Не помнишь...  
(*настойчиво*)  
не должна.

Странице – сон.  
Страннику – путь.  
Помни! – Забудь.

Она спит. За окном звон безвозвратно  
удаляющихся бубенцов.

Когда я кончила – все сразу заговорили. Так же *полно* заговорили, как я – замолчала. Великолепно. – Необычайно. – Гениально. – Театрально и т. д. – Юра будет играть Господина. – А Лиля Ш. – старуху. – А Юра С. – купца. – А музыку – те самые безвозвратные колокольчики – напишет Юра Н. Вот только – кто будет играть Даму в плаще??

И самые бесцеремонные оценки, тут же, в глаза: – Ты – не можешь: у тебя бюст велик. (Вариант: ноги короткие.)

(Я, молча: – Дама в плаще – моя душа, ее никто не может играть.)

Все говорили, а я пылала. Отговорив – заблагодарили. – За огромное удовольствие... За редкую радость... Все чужие лица, чужие, т. е. ненужные. Наконец – он: Господин в плаще.

Не подошел, а отошел, высотой, как плащом, отъединяя меня от всех, вместе со мною, к краю сцены: – Даму в плаще может играть только Верочка. Будет играть только Верочка. *Их дружбе – моя любовь?*

– А это, Марина, – низкий торжественный голос Павлика, – Софья Евгеньевна Голлидэй, – совершенно так же, как год назад: – А это, Марина, мой друг – Юра З. Только на месте *мой друг* – что-то – проглочено. (В ту самую секунду, плечом чувствую, Ю. З. отходит.)

Передо мною маленькая девочка. *Знаю*, что Павликина Инфанта! С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками.

Передо мною – живой пожар. Горит все, горит – вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза, неслгораемо горят в костре рта белые зубы, горят – точно от пламени выются! – косы, две черных косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросило. И взгляд из этого пожара – такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!

– Разве это бывает? Такие харчевни... метели... любви... Такие Господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать навсегда? Я всегда знала, что это – было, теперь я знаю, что это – есть. Потому что это – правда – было: вы, действительно, так стояли. Потому что это *вы* стояли. А Старуха – сидела. И все знала. А Метель шумела. А Метель приметала его к порогу. А потом – отметала... заметала след... А что было, когда она завтра встала? Нет, она завтра не встала... Ее завтра нашли в поле... О, почему он не взял ее с собой в сани? Не взял ее с собой в шубу?..

Бормочет, как сонная. С раскрытыми – дальше нельзя! – глазами – спит, спит наяву. Точно мы с ней одни, точно никого нет, точно и меня – нет. И когда я, чем-то отпущенная, наконец, оглянулась – действительно, на сцене никого не было: все почувствовали или, воспользовавшись, бесшумно, беззвучно – вышли. Сцена была – наша.

И только тут я заметила, что все еще держу в руке ее ручку.

– О, Марина! Я тогда так испугалась! Так потом плакала... Когда я вас увидела, услышала, так сразу, так безумно полюбила, я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно – я сама вас так полюбила сразу.

– А он *не* полюбил.

– Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я вас люблю. А его я презираю – за то, что не любит вас – на коленях.

– Сонечка! А вы заметили, как у меня тогда лицо пылало?

– Пылало? Нет. Я еще подумала: какой нежный румянец...

– Значит, внутри пылало, а я боялась – всю сцену – весь театр – всю Москву сожгу. Я тогда думала – из-за него, что ему – его – себя, себя к нему – читаю – перед всеми – в первый раз. Теперь я поняла: оно навстречу вам пылало, Сонечка... Ни меня, ни вас. А любовь все-таки вышла. Наша.

Это был мой последний румянец, в декабре 1918 г. Вся Сонечка – мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет – нецвет – лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь – до последнего нецвета.

Пыление ли ей навстречу? Ответ ли ее короткого бессменного пожара?

... Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку.

– Сонечка, откуда – при вашей безумной жизни – не спите, не едите, плачете, любите – у вас этот румянец?

– О, Марина! Да ведь это же – из последних сил!

Тут-то и оправдывается первая часть моего эпитафия:

Elle etait pâle – et pourtant rose<sup>4</sup>

То есть бледной – от всей беды – она бы быть должна была, но, собрав последние силы – нет! – пылала. Сонечкин румянец был румянец героя. Человека, решившего гореть и греть. Я часто видала ее по утрам, после бессонной со мною ночи, в тот ранний, ранний час, после поздней, поздней беседы, когда все лица – даже самые молодые – цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета. Но нет! Сонечкино маленькое темноглазое лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой уличке, – да, конечно, это был – порт, и она – фонарь, а все мы – тот бедный, бедный матрос, которому уже опять пора на корабль: мыть палубу, глотать волну...

Сонечка, пишу тебя на Океане. (О, если бы это могло звучать: «Пишу тебе с Океана», но нет:) – пишу тебя на Океане, на котором ты никогда не была и не будешь. По краям его, а главное, на островах его, живет много черных глаз. Моряки знают.

Elle avait le rire si près des larmes et les larmes si près du rire – quoique je ne me souviens pas de les avoir vues couler. On aurait dit que ses yeux étaient trop chauds pour les laisser couler, qu'ils les séchaient lors même de leur apparition. C'est pour cela que ces beaux yeux, toujours prêts à pleurer, n'étaient pas des yeux humides, au contraire – des yeux qui, tout en brillant de larmes, donnaient chaud, donnaient l'image, la sensation de la chaleur – et non de l'humidité, puisqu'avec toute sa bonne volonté – mauvaise volonté des autres – elle ne parvenait pas à en laisser couler une seule.

Et pourtant – si!

Belles, belles, telles des raisins égrenés, et je vous jure qu'elles étaient brûlantes, et qu'en la voyant pleurer – on riait de plaisir! C'est peut-être cela qu'on appelle «pleurer à chaudes larmes»? Alors j'en ai vu, moi, une humaine qui les avait vraiment chaudes. Toutes les autres, les miennes, comme celles des autres, sont froides ou tièdes, les siennes étaient brûlantes, et tant le feu de ses joues était puissant qu'on les voyait tomber – roses. Chaudes comme le sang, rondes comme les perles, salées comme la mer.

...On aurait dit qu'elle pleurait du Mozart<sup>5</sup>.

\* \* \*

А вот, что о Сонечкиных глазах говорит Edmond About в своем чудесном «Roi des Montagnes»:

– Quels yeux elle avait, mon cher Monsieur! Je souhaite pour votre repos que vous n'en rencontriez jamais de pareils. Ils n'étaient ni bleus ni noirs, mais d'une couleur spéciale et personnelle faite exprès pour eux. C'était un brun ardent et veloute qui ne se rencontre que dans le grenat de Sibérie et dans certaines fleurs des jardins. Je vous montrerai une scabieuse et une variété de rose trémière presque noire qui rappellent, sans la rendre, la nuance merveilleuse de ses yeux. Si vous avez jamais visité les forges à minuit, vous avez dû remarquer la lueur étrange que projette une plaque d'acier chauffée au rouge brun: voilà tout justement la couleur de ses regards. Toute la science de

---

<sup>4</sup> Она была бледной – и все-таки розовой... (фр.)

<sup>5</sup> Ее смех был так близок к слезам – а слезы так близки к смеху, – хотя я не помню, чтобы видела их льющимися. Можно было бы сказать: ее глаза были слишком горячими, чтобы дать слезам пролиться, что они сразу высушивали их. И потому эти прекрасные глаза, всегда готовые плакать, не были влажными, напротив: блестя слезами, они излучали жар, являли собою образ, излучение тепла, а не влажности, ибо при всем своем желании (нежелании – других), ей не удавалось пролить ни единой слезинки. И все же —! Прекрасные, прекрасные, подобные виноградинам; и уверяю вас, они были обжигающими, и при виде ее, плачущей, хотелось смеяться – от наслаждения! Это и есть, вероятно – «плакать жаркими слезами»? Значит, я видела человеческое существо, у которого слезы были действительно жаркими. У всех прочих – у меня, у остальных – они холодные или теплые, а у нее были обжигающие, и так был силен жар ее щек, что они казались розовыми. Горячие, как кровь, круглые, как жемчуг, соленые, как море. Можно было сказать, что она плакала по-моцартовски (фр.).

la femme et toute l'innocence de l'enfant s'y lisaient comme dans un livre; mais ce livre, on serait devenu aveugle à le lire longtemps. Son regard brûlait, aussi vrai que je m'appelle Hermann. Il aurait fait mûrir les pêches de votre espalier<sup>6</sup>.

Понятен теперь возглас Павлика?

Знай, что готов я на любой костер взойти,  
Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть  
Твои глаза...

Мое же, скромное:

Глаза карие, цвета конского каштана, с чем-то золотым на дне, темно-карие с – на дне – янтарем: не балтийским: восточным: красным. Почти черные, с – на дне – красным золотом, которое временами всплывало: янтарь – растапливался: глаза с – на дне – топленным, потопленным янтарем.

Еще скажу: глаза немножко жмурье: слишком много было ресниц, казалось – они ей мешали глядеть, но так же мало мешали нам их, глаза, видеть, как лучи мешают видеть звезду. И еще одно: даже когда они плакали – эти глаза смеялись. Поэтому их слезам не верили. Москва слезам не верит. Та Москва – тем слезам – не поверила. Поверила я одна.

Ей, вообще, не доверяли. О ней, вообще, на мои бьющие по всем площадям восторги, отзывались... сдержанно, да и сдержанно-то – из почтения ко мне, сдерживая явный суд и осуждение.

– Да, очень талантливая... Да, но знаете, актриса только на свои роли: на самое себя. Ведь она себя играет, значит – не играет вовсе. Она – просто живет. Ведь Сонечка в комнате – и Сонечка на сцене...

Сонечка на сцене:

Выходит маленькая, в белом платьице, с двумя черными косами, берется за спинку стула и рассказывает: – Жили мы с бабушкой... Квартирку снимали... Жилец... Книжки... Бабушка булавкой к платью пришила... А мне сты-ыдно...

*Свою жизнь, свою бабушку, свое детство, свою «глупость»... Свои белые ночи.*

Сонечку знал весь город. На Сонечку – ходили. Ходили – на Сонечку. – «А вы видали? такая маленькая, в белом платьице, с косами... Ну, прелесть!» Имени ее никто не знал: «такая маленькая...»

«Белые Ночи» были – событие.

Спектакль был составной, трехгранный. Первое: Тургенев, «История Лейтенанта Ергунова»: молодая чертовка, морока, где-то в слободской трущобе завораживающая, обморачивающая молодого лейтенанта. После всех обещаний и обольщений исчезающая – как дым. С его кошельком. Помню, в самом начале она его ждет, наводит красоту – на себя и жилище. Посреди огромного сарая – туфля. Одинокая, стоптанная. И вот – размахом ноги – через всю сцену. Навела красоту!

Но это – не Сонечка. Это к Сонечке – введение.

---

<sup>6</sup> Эдмон Абу... в «Горном короле»: – Какие у нее были глаза, любезный господин! Ради вашего же спокойствия желаю вам никогда не повстречать подобных! Они не были ни синими, ни черными, но цвета особенного, единственного, нарочно для них созданного. Они были темными, пламенными и бархатистыми, такой цвет встречается лишь в сибирских гранатах и некоторых садовых цветах. Я вам покажу скабиозу и сорт штокрозы, почти черной, которые напоминают, хотя и не передают точно, чудесный оттенок ее глаз. Если вы когда-нибудь бывали и кузнице в полночь, вы должны были заметить тот странный коричневый блеск, который отбрасывает стальная пластина, раскаленная докрасна, вот это будет точно цвет ее глаз. Вся мудрость женщины и вся невинность ребенка читались в них, как в книге; но это была такая книга, от долгого чтения которой можно было ослепнуть. Ее взор сжигал – это так же верно, как то, что меня зовут Герман. Под таким взглядом могли бы созреть персики в вашем саду (фр.).

Второе? Мне кажется – что-то морское, что-то портовое, матросское, – может быть Мопассан: брат и сестра? Исчезло.

А третье – занавес раздвигается: стул. И за стулом, держась за спинку – Сонечка. И вот рассказывает, робея и улыбаясь, про бабушку, про жильца, про бедную их жизнь, про девичью свою любовь. Так же робея и улыбаясь и сверкая глазами и слезами, как у меня в Борисоглебском рассказывая об Юрочке – или об Евгении Багратионовиче – так же не играя, или так же всерьез, насмерть играя, а больше всего играя – концами кос, кстати никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперекрученных природно, или прядями у висков играя, отстраняя их от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти концы кос и пряди у висков – вся и Сонечкина *игра*.

Думаю, что даже платьице на ней было не театральное, не нарочное, а собственное, летнее, – шестнадцатилетнее, может быть?

– Ходил на спектакль Второй студии. Видал Вашу Сонечку...

Так она для всех сразу и стала моей Сонечкой, – такая же *моя*, как мои серебряные кольца и браслеты – или передник с монистами – которых никому в голову не могло прийти у меня оспаривать – за никому, кроме меня, не-нужностью.

Здесь уместно будет сказать, потому что потом это встанет вживе, что я к Сонечке сразу отнеслась еще и как к любимой вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которого у меня ни до, ни после к человеку не было – никогда, к любимым вещам – всегда. Даже не как к любимой книге, а именно – как кольцу, наконец, попавшему на нужную руку, вопиюще – моему, еще в том кургане – моему, у того цыгана – моему, кольцу так же мне радующемуся, как я – ему, так же за меня держащемуся, как я за него – самодержащемуся, неотъемлемому. Или уж – вместе с пальцем! Отношения этим не исчерпываю: плюс вся любовь, только мыслимая, еще и это.

Еще одно: меня почему-то задевало, раздражало, оскорбляло, когда о ней говорили Софья Евгеньевна (точно она взрослая!), или просто Голлидэй (точно она мужчина!), или даже Соня – точно на Сонечку не могут разориться! – я в этом видела равнодушие и даже бездушие. И даже бездарность. Неужели они (они и *оне*) не понимают, что она – именно Сонечка, что иначе о ней – грубость, что ее нельзя – *не* ласкательно. Из-за того, что Павлик о ней говорил Голлидэй (начав с Инфанты!), я к нему охладела. Ибо не только Сонечку, а вообще любую женщину (которая *не* общественный деятель) звать за глаза по фамилии – фамильярность, злоупотребление отсутствием, снижение, обращение ее в мужчину, звать же за глаза – ее детским именем – признак близости и нежности, не могущий задеть материнского чувства – даже императрицы. (Смешно? Я была на два, на три года старше Сонечки, а обижалась за нее – как мать.)

Нет, все любившие меня: читавшие во мне называли ее мне – Сонечка. С почтительным добавлением – *ваша*.

Но пока она еще стоит перед нами, взявшись за спинку стула, настоим здесь на ее внешности – во избежание недоразумений:

На поверхностный взгляд она, со своими ресницами и косами, со всем своим алым и каштановым, могла показаться хохлушкой, малороссияночкой. Но – только на поверхностный: ничего типичного, национального в этом личике не было – слишком тонка была работа лица: работа – мастера. Еще скажу: в этом лице было что-то от раковины – так раковину работает океан – от раковинного завитка: и загиб ноздрей, и выгиб губ, и общий завиток ресниц – и ушко! – все было резное, точеное – и одновременно льющееся – точно эту вещь *работали* и ею же – *играли*: не только Океан работал, но и волна – играла. Je n'ai jamais vu de perle rose, mais je soutiens que son visage etait plus perle et plus rose<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Я никогда не видела розового жемчуга, но утверждаю, что ее лицо было еще розовее и еще жемчужнее (*фр.*).

Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. Значит – весной. Весной 1919 г., и не самой ранней, а вернее – апрельской, потому что с нею у меня связаны уже оперенные тополя перед домом. В пору первых зеленых листиков.

Первое ее видение у меня – на диване, поджав ноги, еще без света, с еще-зарей в окне, и первое ее слово в моих ушах – жалоба: – Как я вас тогда испугалась! Как я боялась, что вы его у меня отымете! Потому что не полюбить – вас, Марина, не полюбить вас – на коленях – невысказанно, несбыточно, просто (удивленные глаза) – глупо? Потому что я к *вам* так долго и не шла, потому что *знала*, что вас так полюблю, вас, которую любит он, из-за которой он меня не любит, и не знала, что мне делать с этой своей любовью, потому что я вас *уже* любила, с первой минуты тогда, на сцене, когда вы только опустили глаза – читать. А потом – о, какой нож в сердце! какой нож! – когда он к вам *последний* подошел, и вы с ним рядом стояли на краю сцены, отгородившись от всего, одни, и он вам что-то тихонько говорил, а вы так и не подняли глаз, – так что он совсем *в вас* говорил... Я, Марина, правда не хотела вас любить! А теперь – мне все равно, потому что теперь для меня его нет, есть *вы*, Марина, и теперь я сама вижу, что он *не мог* вас любить, потому что – если бы мог вас любить – он бы не репетировал без конца «Святого Антония», а Святым Антонием бы – был, или не Антонием, а вообще святым...

– Юрием.

– Да, да, и вообще бы никогда бы не обедал и не завтракал. И ушел бы в Армию.

– Святым Георгием.

– Да. О, Марина! Именно Святым Георгием, с копьем, как на кремлевских воротах! Или просто бы *умер* от любви.

И по тому, как она произнесла это *умер* от любви, видно было, что она сама – от любви к нему – и ко мне – и ко *всему* – умирает; революция- не революция, пайки-не пайки, большевики-не большевики – все равно умрет от любви, потому что это ее призвание – и назначение.

– Марина, вы меня всегда будете любить? Марина, вы меня *всегда* будете любить, потому что я *скоро* умру, я совсем не знаю отчего, я так люблю жизнь, но я знаю, что скоро умру, и потому, потому все так *безумно, безнадежно* люблю... Когда я говорю: Юра – вы не верьте. Потому что я знаю, что в других городах... – Только вас, Марина, нет в других городах, а – их!.. – Марина, вы когда-нибудь думали, что вот сейчас, в эту самую минуту, в эту самую сию-минуточку, где-то, в портовом городе, может быть на каком-нибудь острове, всходит на корабль – тот, кого вы могли бы любить? А может быть – сходит с корабля – у меня это почему-то всегда матрос, вообще моряк, офицер или матрос – все равно... сходит с корабля и бродит по городу и ищет вас, которая здесь, в Борисоглебском переулке. А может быть, просто проходит по Третьей Мещанской (сейчас в Москве ужасно много матросов, вы заметили? За пять минут – все глаза растеряешь!), но Третья Мещанская, это так же далеко от Борисоглебского переулка, как Сингапур... (Пауза.) Я в школе любила только географию – конечно, не все эти широты и долготы и градусы (меридианы – любила), – имена любила, названия... И самое ужасное, Марина, что городов и островов много, полный земной шар! – и что на каждой точке этого земного шара – потому что шар только на вид такой маленький и точка только на вид – точка – тысячи, тысячи тех, кого я могла бы любить... (И я это всегда говорю Юре, в ту самую минуту, когда говорю ему, что кроме него не люблю никого, говорю, Марина, как бы сказать, тем самым ртом, тем самым полным ртом, тем самым полным *им* ртом! потому что и *это* правда, потому что *оба* – правда, потому что это одно и то же, я это знаю, но когда я хочу это доказать – у меня чего-то не хватает, ну – как не можешь дотянуться до верхней ветки, потому что вершка не хватает! И мне тогда кажется, что я схожу с ума...)

Марина, кто изобрел глобус? Не знаете? Я тоже ничего не знаю – ни кто глобус, ни кто карты, ни кто часы. – Чему нас в школе учат??! – Благословляю того, кто изобрел глобус (навверное какой-нибудь старик с длинной белой бородой...) – за то, что я могу сразу этими двумя руками обнять весь земной шар – со всеми моими любимыми!

«...Ни кто – часы...»

Однажды она у меня на столе играла песочными часами, детскими пятиминутными: стеклянная стопочка в деревянных жердочках с перехватом-талией – и вот, сквозь эту «талию» – тончайшей струечкой – песок – в пятиминутный срок.

– Вот еще пять минуточек прошло... (Потом безмолвие, точно никакой Сонечки в комнате нет, и уже совсем неожиданно, нежданно:) – сейчас будет последняя, после-едняя! песчиночка! Все!

Так она играла – долго, нахмутив бровки, вся уйдя в эту струечку. (Я – в нее.) И вдруг – отчаянный вопль: – О, Марина! Я пропустила! Я – вдруг – глубоко – задумалась и не перевернула вовремя, и теперь я никогда не буду знать, который час. Потому что – представьте себе, что мы на острове, кто нам скажет, *откуда* нам знать?!

– А корабль, Сонечка, приезжающий к нам за кораллами? За коралловым ломом? – Пиратский корабль, где у каждого матроса по трое часов и по шести цепей! Или – проще: с нами после кораблекрушения спасся – кот. А я еще с детства-и-отрочества знаю, что «Les Chinois voient l'heure dans l'oeil des chats»<sup>8</sup>. У одного миссионера стали часы, тогда он спросил у китайского мальчика на улице, который час. Мальчик быстро куда-то сбегал, вернулся с огромным котом на руках, поглядел ему в глаза и ответил: – Полдень.

– Да, но я про эту струечку, которая одна знала срок и ждала, чтобы я ее – перевернула. О, Марина, у меня чувство, что я кого-то убила!

– Вы *время* убили, Сонечка:

Который час? его спросили *здесь*,  
А он ответил любопытным: – Вечность.

– О, как это чудесно! Что это? Кто этот *он* и это *правда* – было?

– Он, это с ума сшедший поэт Батюшков, и это, правда, было.

– Глупо у поэта спрашивать время. Без-дарно. Потому он и сошел с ума – от таких глупых вопросов. Нашли себе часы! *Ему* нужно говорить время, а не у него – спрашивать.

– Не то: он уже был на подозрении безумия и хотели проверить.

– И опозорились, потому что это ответ – гения, чистого духа. А вопрос – студента-медика. Дурака. (Поглаживая указательным пальчиком круглые бока стопочки.) Но, Марина, представьте себе, что я была бы – Бог... нет, не так: что вместо меня Бог бы держал часы и забыл бы перевернуть. Ну, задумался на секундочку – и – *кончено* время.

...Какая страшная, какая чудная игрушка, Марина. Я бы хотела с ней спать...

Струечка... Секундочка... Все у нее было уменьшительное (*умалительное, утолительное, умилительное...*), вся речь. Точно ее маленькость передалась ее речи. Были слова, словца в ее словаре – может быть и актерские, актрисинские, но, Боже, до чего это иначе звучало из ее уст! например – манерочка. «Как я люблю вашу Алю: у нее такие особенные манерочки...»

Манерочка (ведь шаг, *знак* до «машерочка»)! – нет, не актрисинское, а институтское, и недаром мне все время чудится, ушами слышится: «Когда я училась в институте...» Не могла гимназия не только дать ей, но не взять у нее этой – старинности, старомодности, этого старинного, век назад, какого-то осьмнадцатого века, девичества, этой насущности обожания и коленипоклонения, этой страсти к несчастной любви.

Институтка, потом – актриса. А может быть институтка, гувернантка и потом – актриса. (Смутно помнятся какие-то чужие дети...)

<sup>8</sup> Китайцы узнают время по кошачьим глазам (*фр.*).

– Когда Аля вчера просила еще посидеть, сразу не идти спать, у нее была такая трогательная гримасочка...

Манерочка... гримасочка... секундочка... струечка... а сама была... девочка, которая ведь тоже – уменьшительное.

– Мой отец был скрипач, Марина. *Бедный* скрипач. Он умер в больнице, и я каждый день к нему ходила, ни минуточки от него не отходила, – он только мне одной радовался. Я вообще была его любимицей. (Обманывает меня или нет – память, когда я слышу: придворный скрипач? Но какого двора – придворный? Английского? Русского? Потому что – я забыла сказать – Голлидэй есть английское Holiday – воскресенье, праздник.

Сонечка *Голлидэй*: это имя было к ней привязано – как бубенец!)

– Мои сестры, Марина, красавицы. У меня две сестры, и обе красавицы. Высокие, белокурые, голубоглазые – настоящие леди. Это я – такая дурнушка, чернушка...

Почему они не жили вместе? Не знаю. Знаю только, что она непрерывно была озабочена их судьбою – и делом заботилась. – Нужно много денег, Марина, нужно, чтобы у них были *хорошие* платья и обувь, потому что они (с глубоким придыханием восторга) – красавицы. Они высокие, Марина, стройные – это я одна такая маленькая. – И вы, такая маленькая, младшая, должны... – Именно потому, что такая маленькая. Мне, не-красавице, мало нужно, а красавицам – всегда во всех сказках – много нужно. Не могут же они одеваться – как я!

(Белая блузка, черная юбка или белое платьице – в другом ее не помню.)

Однажды в какой-то столовой (воблиный суп с перловой крупой, второе сама вобла, хлеба не было, Сонечка отдала Але свой) она мне их показала – сидели за столиком, ей с высоты английских шей кивнули (потом она к ним побежала) – голубоглазые, фарфоровые, златоволосые, в белых, с выгибом, великокняжнинских шляпах...

– Гляди, Алечка, видишь – эти две дамы. Это мои сестры. Правда, они – красавицы?

– Вы – лучше.

– Ах ты, дитя мое дорогое! Это *тебе* лучше, потому что ты меня любишь.

– Я потому вас люблю, что вы лучше всех.

Ребенок, обезоруженный ребенком, смолк.

Повинуясь, очевидно, закону сказки – иначе этого, с моей страстью к именам, не объяснишь – я так и не спросила у нее их имен. Так они у меня и остались – сестры. Сестры – Золушки.

*Мать* помню как Сонечкину *заботу*. Написать маме. Послать маме. Должно быть, осталась в Петербурге, откуда родом была сама Сонечка. Недаром ее «Белые Ночи». – Я же знаю, Марина, я сама так ходила, сама так любила... Когда я в первый раз их прочла... Я *никогда* не читала их в первый раз! Только я в «Белых ночах», не только она, но еще и *он*, тот самый мечтатель, так никогда и не выбравшийся из белой ночи... Я ведь всегда двоюсь, Марина, не я – двоюсь, а меня – два, двое: даже в любви к Юре: я – я, и я – еще и он, Юра: все его мысли думаю, еще не сказал – знаю (оттого и не жду ничего!) – мне смешно сказать: когда я – он, мне самой лень меня любить...

Только с Вами, Марина, я – я, и – еще я.

А верней всего, Марина, я – все, кто белой ночью так любят, и ходят, и бродят... Я сама – белая ночь...

Обнаружила я ее Петербург сразу, по ее «худо» вместо московского «плохо». – А это очень худо? – Что? – Говорить «худо», – и сама смеется. – Для вашего худа, Сонечка, одна рифма – чудо.

Кто и откуда,  
Милое чудо?

Так возникла Розанэтта из моей «Фортуны» (Лозэна), так возникла вся последняя сцена «Фортуны», ибо в этом: – Кто и откуда? – уже весь приказ Розанэтте (Сонечке) быть, Розанэтте, дочке привратника, которая:

...Я за последней волею прислана.  
Может, письмо Вам угодно оставить родным,  
Может быть, локон угодно отрезать на память.  
Все, что хотите – просите! Такой уж день:  
*Всё* Вам позволено нынче!

О, какая это была живая Сонечка, в этом – *все*, говоримом за час перед казнью, в этом часе, даримом и творимом, в этом последнем любовном и последнем жизненном часе, в предсмертном часе, вмещающем *всю* любовь.

В этом – Розанэтта – имени.

(Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились – все мужчины, изревновались к тебе – все жены, исстрадались по тебе – все поэты...)

Началась Сонечка в моих тетрадях с ее жалобного, в первый приход ко мне, возгласа: – О, Марина! (Эта умница ни разу не назвала меня «Ивановна», как с «Белыми Ночами», сразу второй (тысячный) раз.) Как я бы вашу Даму в «Метели» – сыграла. Как я знаю каждое движение, каждую интонацию, каждый перерыв голоса, каждую паузу – *каждое* дыхание... Так, Марина, как я бы – ее никто не сыграет. Но я не могу – я такая маленькая...

Не ростом – не только ростом – мало ли маленьких! – и маленькость ее была самая обыкновенная – четырнадцатилетней девочки – ее беда и прелесть были в том, что она этой четырнадцатилетней девочкой – *была*. А год был – Девятнадцатый. Сколько раз – и не стыжусь этого сказать – я за наш с ней короткий век жалела, что у нее нет старого любящего просвещенного покровителя, который бы ее в своих старых руках держал, как в серебряной оправе... И одновременно бы ею, как опытный штурман, правил... Моей маленькой лодочкой большого плаванья... Но таких в Москве Девятнадцатого года – не было.

(Знаю, знаю, что своей любовью «эффект» «ослабляю», что читатель хочет сам любить, но я тоже, как читатель, хочу сама любить, я, как Сонечка, хочу «сама любить», как собака – хочу сама любить... Да разве вы еще не поняли, что мой хозяин – умер и что я за тридцать земель и двудесять лет – просто – вою?!)

...Ни малейшего женского кокетства. Задор – мальчишки (при предельно-женственной, девической, девчонческой внешности), лукавство – *lutin*<sup>9</sup>. Вся что немцы называют «Einfall»<sup>10</sup>. (Сонечка, я для тебя три словаря граблю! Жаль, английского не знаю – там бы я много для тебя нашла. А – в испанском!..)

Ряд видений: Наташа Ростова на цветочной кадке: «Почелуйте куклу!»... Наташа Ростова, охватив колена, как индус, как пес, поющая на луну, пением уносимая с подоконника... Огаревская Консуэла, прощающаяся с герценовской Наташей у дилижанса... Козэтта с куклой и Фантина с Козэттой... Все девические видения Диккенса... Джульетта... Мирэй...

---

<sup>9</sup> Шаловливость (*фр.*).

<sup>10</sup> «Причуда» (*нем.*).

Миньона, наконец, нет, даже *он*: Mignon, – тот мальчик арфист, потом ставший Миньонкой, которого с какой-то своей *Wanderung*<sup>11</sup> привел домой к матери юноша, ставший – Гёте.

(Знаю, что опять ничего не даю (и много – беру), однажды даже вычеркнула это место из рукописи, но они меня так теснят, обступают, так хотят через Сонечку еще раз – быть...)

Но главное имя – утаиваю. И прозвучит оно только в стихах – или нигде.

И вот, потому что ни одной моей взрослой героиней быть не могла – «такая маленькая» – мне пришлось писать маленьких. Маленьких девочек. Розанэтта в «Фортуне», девчонка в «Приключении», Франческа в «Конце Казановы» – все это Сонечка, она, живая, – не вся, конечно, и попроще, конечно, ибо, по слову Гейне, поэт неблагоприятен для театра и театр неблагоприятен для поэта – но всегда живая, если не вся – она, то всегда – она, никогда: не-она.

А один свой стих я все-таки у нее – украла: у нее, их не писавшей, в жизни не написавшей ни строки, – я, при всей моей безмерной, беспримерной честности – да, украла. Это мой единственный в жизни плагиат.

Однажды она, рассказывая мне о какой-то своей обиде:

– О, Марина! И у меня были такие большие слезы – крупнее глаз!

– А вы знаете, Сонечка, я когда-нибудь это у вас украду в стихи, потому что это совершенно замечательно – по точности и...

– О, берите, Марина! Все, что хотите – берите! Все мое берите в стихи, всю берите! Потому что в *ваших* руках *все* будет жить – вечно! А что от меня останется? Несколько поцелуев...

И вот, три года спустя (может быть, кто знает, день в день) стих:

В час, когда мой милый брат  
Миновал последний вяз  
(Вздохов мысленных: – Назад!)  
*Были слезы – больше глаз.*

В час, когда мой милый друг  
Огибал последний мыс  
(Вздохов мысленных: – Вернись!)  
*Были взмахи – больше рук.*

Руки прочь хотят – от плеч!  
Губы вслед хотят – зажать!  
Звуки растеряла речь,  
Пальцы растеряла пясть.

В час, когда мой милый гость... —  
Господи, взгляни на нас! —  
*Были слезы больше глаз  
Человеческих – и звезд  
Атлантических...*

(А атлантические звезды горят над местечком, Ласапау-Осеан, где я свою Сонечку – пишу, и я, глядя на них вчера, в первом часу ночи, эти строки вспомнила – наоборот: что на океане *звезды* больше глаз! Вот и сошелся круг.)

Эти стихи написаны и посланы Борису Пастернаку, но автор и адресат их – Сонечка.

---

<sup>11</sup> Поездка (нем.).

И последний отблеск, отзвук Сонечки в моих писаниях – когда мы уже давно, давно расстались – в припеве к моему «Молодцу»: – А Маруся лучше всех! (краше всех, жарче всех...) – в самой Марусе, которая, цветком восстав, пережила самое смерть, но и бессмертье свое отдаст, чтобы вместе пропасть – с любимым.

– Марина, вы думаете, меня Бог простит – что я так многих целовала?

– А вы думаете – Бог считал?

– Я – тоже не считала.

...А главное я всегда целую – первая, так же просто, как жму руку, только – неудержимее. Просто никак не могу дождаться! Потом, каждый раз: – Ну, кто тебя тянул? Сама виновата! Я ведь знаю, что это никому не нравится, что все они любят кланяться, клянчить, искать случая, добиваться, охотиться... А главное – я терпеть не могу, когда другой целует – первый. Так я по крайней мере знаю, что я этого хочу.

– Марина, я никогда не могла понять (и себя не понимаю), как можно – только что целовавшись – говорить молитву. Теми же губами... Нет, не теми! Я, когда молюсь – никогда не целовалась и когда целуюсь – никогда не молилась.

– Сонечка! Сонечка! От избытка сердца целуют уста *ваши*.

Мы с ней никогда не целовались: только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала ее за плечи, жестом защиты, охраны, старшинства. (Я была года на три старше, по существу же – на всю себя. Во мне никогда ничего не было от «маленькой»).

Братски обнимала.

Нет, это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытки разрядить, растратить, осуществить. Беда без попытки помочь. Вот об этом мой французский рассказ одному моему французскому другу, пятнадцать лет спустя. Друг прошел, рассказ остался. *Пусть* останется.

– Je ne me souviens pas de l'avoir embrassee hors le baiser usuel, presque machinal du bonjour et de l'adieu. Ce n'était pas de la mauvaise – ou bonne – honte, c'était – mais la même chose qu'avec le «tu»: je l'aimais trop, tout était mouns.

Car un baiser, quand on n'aime pas – dit tellement plus, et quand on aime – dit tellement moins, est tellement moins. Boire pour reboire encore. Le baiser en amour c'est l'eau de mer dans la soif. (Eau de mer ou sang – bon pour les naufrages!) Si cela a déjà été dit – je le redis. L'important, ce n'est pas de dire du neuf, c'est de trouver seul et de dire vrai.

J'aimais mieux garder ma soif entière.

Et – une chose qui n'a sûrement, par sa simplicité même, jamais été écrite: le baiser en amour c'est le mauvais chemin menant à l'oubli de l'autre. De l'aimer, non à l'aime. Commencant par baiser une âme, on continue par baiser une bouche et on finit par baiser – le baiser. Aneantissement.

Mais je l'embrassais souvent de mes bras, fraternellement, protectionnellement, pour la cacher un peu à la vie, au froid, à la nuit. C'était la Revolution, donc pour la femme: vie, froid, nuit.

...Ma petite enfant que je n'ai jamais laissée rentrer seule.

Et simplement je n'y avais jamais pensé – qu'il y avait – ça, cette possibilité? entre gens comme nous. (Cette impasse.) Ce n'est que maintenant, quinze ans après que j'y pensai, pleine de gratitude de n'y avoir alors pas même pensé?<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Не помню, чтобы я ее целовала, кроме поцелуев обычных, почти машинальных, при встрече и прощании. И вовсе не из-за дурной – или хорошей – стыдливости; это было – так же, как с «ты»: я слишком любила ее, все прочее было меньше. Ибо когда не любят, поцелуй говорит настолько больше, а когда любят – настолько меньше; сам по себе он недостаточен. Пить, чтобы пить вновь. Поцелуй в любви – это морская вода во время жажды. (Морская вода или кровь – хороши для потерпевших кораблекрушение!) Если это уже было сказано – повторю. Потому что главное – не новое сказать, а найти единственно верное слово. Я предпочитала не утолять жажду вообще. И еще одна вещь, о которой никогда не писали, несмотря на ее очевидность:

Сонечка жила в кресле. Глубоком, дремучем, зеленом. В огромном зеленом кресле, окружавшем, обступавшем, обнимавшем ее, как лес. Сонечка жила в зеленом кусту кресла. Кресло стояло у окна, на Москва-реке, окруженное пустырями – просторами.

В нем она утешалась от Юры, в нем она читала мои записочки, в нем писала мне свои, в нем учила свои монологи, в нем задумчиво грызла корочку, в нем неожиданно, после всех слез и записочек – засыпала, просыпала в нем всех Юр, и Вахтангов, и Вахтанговых...

*C'etail son lit, son nid, sa niche...*<sup>13</sup>

К Сонечке идти было немножко под гору, под шум плотины, мимо косога забора с косее его бревен надписью: «Исправляю почерк»... (В 1919 году! Точно другой заботы не было! Да еще такими буквами!)

Стоит дом. В доме – кресло. В кресле – Сонечка. Поджав ноги, как от высыхающей воды прилива. (Еще немножко – зальет.) Ножки спрыгивают, ручки – навстречу: – Марина! Какое счастье!

Заботливо разгружает меня от кошелки и черезплечной сумки. Сонечку не нужно убеждать не-сажать меня в кресло: знает твердость моего нрава – и навыков. Сажусь на окно. Подоконник низкий и широкий. За ним – воля. За спиной – воля, перед глазами – любовь.

– Марина! Я нынче была у ранней обедни и опять так плакала (деловито, загибая в ладонь пальчики): – Юра меня не любит, Вахтанг Леванович меня не любит, Евгений Багратионович меня не любит... А мог бы! хотя бы, как дочь, потому что я – Евгеньевна, – в Студии меня не любят...

– А – я?!

– О – *вы!* Марина, вы меня *всегда* будете любить, не потому что я такая хорошая, а потому что не успеете меня разлюбить... А Юра – уже успел, потому что я сама не успела... умереть. (Любить, любить... Что она думала, когда все так говорила: любить, любить?..)

Это напоминает мне один мой собственный, тогда же, вопрос солдату бывшего полка Наследника, рассказывавшему, как спасал знамя:

– Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

– А – ничего не чувствовал: есть знамя – есть полк, нет знамени – нет полка.

(Есть любовь – есть жизнь, нет любви...)

Сонечкино любить было – быть: *небыть* в другом: сбыться.)

Сжалась в комочек, маленькая, лица не видно из-за волос, рук, слез, прячется сама в себе – от всего (как владимирская нянька Надя про мою дочь Ирину:) – угнеживается... А вокруг и над и под – лес, свод, прилив кресла.

По тому, как она в него вгребалась, вжималась, видно было, до чего нужно было, чтобы кто-нибудь держал ее в сильных широких любящих старших руках. (Ведь кресло – всегда старик.)

По Сонечке в кресле видна была вся любящность ее природы. (Натура – слово *ее* словаря, странно-старинного, точно переводного из Диккенса.) Ибо вжималась в него не как кошка в бархат, а как живой в живое.

Поняла: она у него просто сидела на коленях!

---

поцелуй и любви – дурной путь, ведущий к забвению. От любимого, но не к любимому. Начинают с поцелуя души, продолжают поцелуем уст и кончают поцелуем – поцелуя. Уничтожением. Но я часто обнимала ее братски, покровительственно, чтобы немного оградить от быта, от холода, от ночи. Революция для женщины и есть: быт, холод, ночь... Моя малютка, которой я не позволяла возвращаться одной. Да я просто не думала об этом – ибо оно было – эта реальность между такими, как мы. (Эта безысходность.) Только теперь, спустя пятнадцать лет, я вспоминаю обо всем, исполненная благодарности за то, что тогда все это не приходило мне в голову (*фр.*).

<sup>13</sup> Оно было ее постелью, ее гнездом, ее конурой... (*фр.*)

Чтобы немножко развлечь ее, отвлечь ее от Юры, рассказываю, насказываю ей, как вчера ходили с Алей пешком на Воробьевы горы, как я, посреди железнодорожного моста, заведя сквозь железные перекладины – воду, от страха – села, как Аля заговаривала моему страху зубы тут же изобретенной историей: как мост тут же раздался, и мы с ней тут же упали в воду, но не потонули, потому что нас в последнюю минуту поддержали ангелы, а поддержали – потому что в последнюю минуту узнали, что «эта дама с солдатской сумкой через плечо» – поэт, а эта девочка с офицерскими пуговицами – ее дочь, и как ангелы на руках отнесли нас на ярмарку, и потом с нами катались на карусели, «Вы, Марина, со своим ангелом на льве, а я со своим на баране...» и как потом эти ангелы отнесли нас в Борисоглебский переулок, и остались с нами жить, и топили нам плитку, и воровали нам дрова... «потому что эти ангелы были не ангелы, а... вы сами, Марина, знаете, *какие* это были ангелы...»

И как мы, с Алиной и ангельской помощью, действительно перешли мост и действительно катались на карусели: я – на льве, она – на баране... и как я ей тут же, за хороший перевод через мост, покупаю на лотке какую-то малиновую желатиновую трясу, и как она ее истово, наподобие просфоры, ест, и как потом нас перевозят через реку не ангелы, а двое мужиков в красных рубахах, в одном из которых она узнает своего обожаемого Вожатого из «Капитанской Дочки» – и так далее – и так далее... – до Сонечкиного просветления – потом смеяния – потом сияния...

– Марина, я тогда играла в провинции. А летом в провинции – всегда ярмарки. А я до страсти люблю всякое веселье. Бедное. С розовыми петухами и деревянными кузнецами. И сама ходила в платочке. Розовом. Как надела – ну, просто чувство, что в нем родилась. Но у меня во всем это чувство, от всего: и в косынке и в огромной белой шляпе моих сестер... я иногда думаю: хоть корону надень! – но нет, провалится: ведь у меня ужасно маленькая голова: смехотворная – нет, нет, не говорите! Это – *волосы*, а попробуйте меня обрить! Говорю Вам: *ничего* не останется!.. Марина, вы бы меня любили бритую? Впрочем, вы уже меня любите – бритую, потому что перед вами всякий – бритый, перед вами даже Юрочка – бритый, нет, полубритый: арестант! – Марина, я страшно-много говорю? Неприлично-много, и сразу обо всем, и обо всем – всё сразу? Вы знаете, нет минуты, когда бы мне *не* хотелось говорить, даже когда плачу: плачу – навзрыд, а сама говорю! Я и во сне все время говорю: спорю, рассказываю, доказываю, а в общем – как ручей по камням – бессмыслица, Марина! Меня же *никто* не слушает. Только вы. Ах, Марина! Первый человек, которого я любила – он был гораздо старше меня, больше чем вдвое, и у него уже были взрослые дети – за это и любила – и он был *очень* снисходительный, никогда не сердился, даже *он* мне, часто, шутя, с упреком: – Ах, Соня! Неужели вы не понимаете, что есть минуты, – когда *не нужно* говорить?

А я – продолжала – не переставала – не переставая говорила – мне всё время всё приходит в голову, всё сразу – и такое разное. Я иногда жалею, что у меня только один голос зараз... Ой, Марина, вот я и договорилась до чревоушателя!

(Да, она «страшно много» говорила. О ней царицыно любимое слово в тобольских письмах: «Дети болтают, как водопады...»)

...Так – про ту ярмарку. Раз иду в своем платочке и из-под платочка – вижу: громадная женщина, даже баба, бабища в короткой малиновой юбке с блестками под шарманку – танцует. А шарманку вертит – чиновник. Немолодой уже, зеленый, с красным носом, с кокардой. (Нос сам вроде кокарды.) Тут я его страшно пожалела: бедный! должно быть, с должности прогнали за пьянство, так он – с голоду... А оказалось, Марина, от любви. Он десять лет тому назад, где-то в своем городе, увидел ее на ярмарке, и она тогда была молоденькая и тоненькая и должно быть страшно трогательная. И он сразу в нее влюбился (а она в него – нет, потому что была уже замужем – за чревоушателем), и с утра стал пропадать на ярмарке, а когда ярмарка уехала, он тоже уехал, и ездил за ней всюду, и его прогнали с должности, и он стал крутить шарманку,

и так десять лет и крутит, и не заметил, что она разжирела – и уже не красивая, а страшная... Мне кажется, если бы он крутить – перестал, он бы сразу все понял – и умер.

Марина, я сделала ужасную вещь: ведь его та женщина ни разу не поцеловала – потому что, если бы она его хоть раз поцеловала, он бы крутить перестал: он ведь этот поцелуй выкручивал! – Марина! я перед всем народом... Подхожу к нему, сердце колотится: – «Не сердитесь, пожалуйста, я знаю вашу историю: как вы все бросили из-за любви, а так как я сама такая же...» – и перед всем народом его поцеловала. В губы.

Вы не думайте, Марина, я себя – заставила, мне очень не хотелось, и неловко, и страшно: и его страшно, и ее страшно, и... просто не хотелось! Но я тут же себе сказала: – Завтра ярмарка уезжает, – раз. Сегодня последний срок, – два. Его никто в жизни не целовал, – три. И уже не поцелует, – четыре. А ты всегда говоришь, что для тебя выше любви нет ничего, – пять. Докажи, – шесть. И – *есть*, Марина, поцеловала! Это был мой единственный трудный поцелуй за всю жизнь. Но не поцелуй я его, я бы уж никогда не посмела играть Джульетту.

– Ну, а он?

– Он? (С веселым смехом):

Стоит как громом пораженный  
Евгений...

Да я и не смотрела. Пошла, не оглядываясь. Должно быть – до сих пор стоит... Десять лет, десять лет пыльных площадей и пьяных мужиков, а поцеловала – все-таки не та!

А вот еще, Марина, история – про моряка Пашу...

Где история про моряка Пашу, о котором у меня в записной книжке весны 1919 г. только запись: «Рассказ Сонечки Голлидэй про моряка Пашу» – а рядом свободный листок для вписания так и не вписанного. Пропал моряк Паша! Заплыл моряк Паша!

О, кресло историй, исповедей, признаний, терзаний, успокоений...

Вторым действующим лицом Сонечкиной комнаты был – сундук, рыжий, кожаный, еще с тех времен, когда Сонечкин отец был придворным музыкантом. – Сонечка, что в нем? – Мое приданое! (какое – потом узнаем). Потому что я потом когда-нибудь непременно выйду замуж! По самому серьезному: с предложением, с отказом, с согласием, с белым платьем, с флер д'оранжем, с фатою... Я ненавижу венчаться... в штатском! Вот так взять и зайти, только зубы наспех почистив, а потом через месяц объявить: – Мы уже год как женаты. Это без-дарно. Потому что – и смущаться нужно, и чокаться нужно, и шампанское проливать, и я хочу, чтобы меня поздравляли – и чтобы подарки были – а главное – чтобы плакали! О, как я буду плакать, Марина! По моему Юрочке, по Евгению Багратионычу, по Театру, по всему, всему *тому*, потому что тогда уже – кончено: я буду любить только его.

Третьим действующим лицом Сонечкиной комнаты был – порядок. Немыслимый, несбыточный в Революции. Точно здесь три горничных работали, сметая и сдувая. Ни пылинки, ни соринки, ничего сдвинутого. Ни одной (моей или Юриной) записочки. Или все – под подушкой? Это была комната институтки на каникулах, гувернантки на кондициях, комната – сто, нет – двести лет назад. Или еще проще – матросская каюта: порядок, не как отсутствие, а как присутствие. В этой комнате живет порядок. Так гардемарин стоит навтыжку.

И никто на нее не работал. Марьюшка весь день стояла по очередям за воблой и постным маслом (и еще одной вещью, о которой – потом!). А вернувшись, эту воблу – об стенку била. Все – Сонечка, самолично, саморучно.

Поэтому меня особенно умиляла ее дружба со мною, ее искреннее восхищение моим странным и даже страшным домом – где все было сдвинуто – раз навсегда, то есть непрерывно и неостановимо сдвигалось, все дальше и дальше – пока не уходило за пределы стен: в подарок? в покражу? в продажу?

Но прибавлю, что всем детям, особенно из хороших домов, всегда нравился мой дом (все тот же по нынешний день), его безмерная свобода и... сюрпризность: вот уже *boote a surprises*<sup>14</sup>, с возникающими из-под ног чудесами – гигантская *boote*, с бездной вместо дна, неустанно подающей все новые и новые предметы, зачастую – *sans nom*...<sup>15</sup>

Сонечке мой дом *детски* нравился, как четырнадцатилетнему ребенку, которым она была.

Чтобы совсем все сказать о моем доме: мой дом был – диккенсовский: из «Лавки древностей», где спали на сваях, а немножко из «Оливера Твиста» – на мешках, Сонечка же сама – вся – была из Диккенса: и Крошка Доррит – в долговой тюрьме, и Копперфильдова Дора со счетной книгой и с собачьей пагодой, и Флоренса, с Домби-братом на руках, и та странная девочка из «Общего друга», зазывающая старика-еврея на крышу – *небыть*: – *Montez! Montez! Soyez mort! Soyez mort!*<sup>16</sup> – и та, из «Двух городов», под раздуваемой грозой кисеею играющая на клавишине и в стуже первых капель ливня слышащая топот толп Революции...

Диккенсовские девочки – все – были. Потому что я встретила Сонечку.

Сонечкина любовь к моему дому был голос крови: атавизм.

(Диккенс в транскрипции раннего Достоевского, когда Достоевский был еще и Гоголем: вот моя Сонечка. У «Белых Ночей» – три автора. Мою Сонечку писали – три автора.

Как ей было не *суметь* – Белых Ночей?!)

Приходила я к ней всегда утром, – заходила, забегала одна, без детей. Поэтому ее комнату помню всегда в сиянии – точно ночи у этой комнаты не было. Золото солнца на зелени кресла и зелень кресла в темном золоте паркета.

– Ах, Сонечка, взять бы вас вместе с креслом и перенести – в другую жизнь. Опустить, так с него и не сняв, посреди Осьмнадцатого века – вашего века, когда от женщины не требовали мужских принципов, а довольствовались – женскими добродетелями, не требовали идей, а радовались – чувствам, и во всяком случае – радовались поцелуям, которыми вы в Девятнадцатом году всех только пугаете.

Чтобы с вашего кресла свешивались не эти вот две квадратные железные необходимости, а – туфельки, и чтобы ступали они не по московскому булыжнику, а – вовсе не ступали, чтобы их подошвы были – как у еще не ходивших детей.

Ибо вы (все искала вам подходящего слова – драгоценность? сокровище? *joyau? bijou?*) – *Kleinod!*<sup>17</sup> и никто этого в Москве Девятнадцатого Года – не видит, кроме меня, которая для вас – ничего не может.

– Ах, Марина! Мне так стыдно было перед ним своих низких квадратных тупоносых ног!

Перед «ним» – на этот раз не перед Юрой. Сонечка в мою жизнь вошла вместе с моим огромным горем: смертью Алексея Александровича Стаховича, в первые дни его посмертья. Кто для меня был Алексей Александрович Стахович – я уже где-то когда-то рассказывала, здесь дам только свои неизданные стихи к нему:

Хоть сто мозолей – трех веков не скроешь!  
Рук не исправишь – топором рубя!  
О, сокровеннейшее из сокровищ:

---

<sup>14</sup> Коробкой сюрпризов (*фр.*).

<sup>15</sup> Безымянные (*фр.*).

<sup>16</sup> Поднимайтесь! Поднимайтесь! Умрите! (*фр.*).

<sup>17</sup> Сокровище (*фр. и нем.*).

Порода! – узнаю тебя.

Как ни коптись над черной сковородкой —  
Все вокруг тебя твоих Версалеяй – тишь.  
Нет, самую косою косовороткой  
Ты шея не укоротишь!

Над снежной грудой иль над трубной сажей  
Дугой согбен – все ж *гордая* спина!  
Не окриком, – все той же барской блажью  
Тебе работа задана.

Выменивай по нищему Арбату  
Дрянную сельдь на пачку папирос —  
Все равенство нарушит – нос горбатый:  
Ты – горбонос, а он – курнос.

Но если вдруг, утомлено получкой,  
Тебе дитя цветок протянет – в дань,  
Ты так же поцелуешь эту ручку,  
Как некогда – царицы длань.

(Один из слушателей, тогда же: – Что это значит: утомлено получкой? – Когда человек, продавец, устает получать. (Непонимающие глаза.) Устает получать деньги, ну – продавать устает. – Разве это бывает? (Я, резво:) – Еще как. Вот с Львом Толстым случилось: устал получать доходы с Ясной Поляны и за сочинения гр. Л. Н. Толстого – и вышел в поле. – Но это – исключительный случай, гений, у вас же рэчь (мой собеседник – поляк) – о «дитя». – Мое дитя – женщина, а получать ведь вопрос терпенья, а женщины еще более терпеливы, чем гении. Вот мое «дитя» сразу и подарило розу Стаховичу...)

### **Второе:**

Не от запертых на семь замков пекарен  
И не от заледенелых печек —  
Барским шагом, распрямляя плечи,  
Ты сошел в могилу, русский барин.

Старый мир пылал – судьба свершалась.  
– Дворянин, дорогу – дровосеку!  
Чернь цвела, а вблизи тебя дышалось  
Воздухом Осьмнадцатого века.

И пока, с дворцов срывая крыши,  
Чернь рвалась к добыче вожденной —  
Вы «*bon ton, maintien, tenue*»<sup>18</sup> мальчишек  
Обучали – под разгром вселенной.

---

<sup>18</sup> Хорошим манерам, умению держаться, поведению (*фр.*).

Вы не вышли к черни с хлебом-солью,  
И скрестились – от дворянской скуки! —  
В черном царстве трудовых мозолей —  
Ваши восхитительные руки.

(Не мне презирать мозоли – тогда бы я должна была презирать себя первую – но тогда эти мозоли были в любовь навязаны и вменены в обязанность. Отсюда и ненависть.)

Прибавлю еще, что Сонечка со Стаховичем были в одной студии – Второй, где шли и Сонечкины «Белые Ночи» с единственным действующим лицом – Сонечкой, и «Зеленое кольцо» с единственным действующим лицом – Стаховичем (кольцо – молодежь).

Вот об этих-то *leçons* «*bon ton, maintien, tenue*» Сонечка мне и рассказывала, говоря о своих тупоносых башмаках.

– Это был такой стыд, Марина! Каждый раз сгорала! Он, например, объясняет, как женщине нужно кланяться, подавать руку, отпускать человека или, наоборот, принимать.

– Поняли? Ну, пусть кто-нибудь покажет. Никто не может? Ну, вы, – Голлидэй, Соня.

И выхожу, Марина, сгорая со стыда за свои грубые низкие ужасные башмаки с бычьими мордами. В таких башмаках проходить через весь зал – перед ним, танцевавшим на всех придворных балах мира, привыкшим к таким уж туфелькам... ножкам...

О ножки, ножки, где вы ныне,  
Где мнете вешние цветы?

Но выхожу, Марина, потому что другому – некому, потому что другие – еще хуже, не хуже одеты, а... ну, еще меньше умеют... дать руку, отпустить гостя. О, как я бы все это умела, Марина, – если бы не башмаки! Как я все это глубоко, глубоко, отродясь все умею, знаю! Как все – сразу – узнаю!

И он всегда меня хвалил, – может быть, чтобы утешить меня в этих ужасных башмаках? – «Так, так, именно так...» и никогда на них не смотрел, точно и не видел, как они меня – *жгут*. И я не глядела, я ведь только *до* боялась, до того, как он скажет: – Ну, вы – Голлидэй, Соня! – А когда уже сказал – кончено, я свободно шла, я о них и не думала, – о, Марина! я до них не снисходила.

Но он их – отлично замечал, потому что, когда однажды одна наша ученица пожаловалась, что не умеет, «потому что башмаки тяжелые» – «Какова бы ни была обувь – остается поступь. Посмотрите на Софью Евгеньевну: кто скажет, что у нее на каждой ножке – по пуду железа, как у узника Бонивара?»

– Сонечка, а знаете ли вы сказку о маленькой Русалочке?

– Которая танцевала на ножах? Но ведь это в тысячу раз легче, чем на утюгах! Потому что это именно утюги... битюги... Это моя самая любимая сказка, Марина! Всякий раз, когда я ее читаю, я чувствую себя – ею. Как ей хотелось всплыть – и как всплыла, и увидела верхний мир, и того мраморного мальчика, который оказался мертвым... и принцем, и как потом его оживила – и онемела – и как потом немая танцевала перед ним на ножах... О, Марина, ведь это высшее блаженство – так любить, так любить... Я бы душу отдала – чтобы душу отдать!

– Ах, Марина! Как я люблю – любить! Как я безумно люблю – сама любить! С утра, нет, до утра, в то самое до-утро – еще спать и уже знать, что опять... Вы когда-нибудь забываете, когда любите – что любите? Я – никогда. Это как зубная боль – только наоборот, наоборотная зубная боль, только там ноет, а здесь – и слова нет. (Подумав: поёт?) Ну, как сахар обратное соли, но той же силы. Ах, Марина! Марина! Марина! Какие они дикие дураки. (Я, все же изумленная: – Кто?) – Да те, кто *не* любят, сами не любят, точно в том дело, чтобы *тебя* любили.

Я не говорю... конечно... – устаешь – как в стену. Но Вы знаете, Марина (таинственно), нет такой стены, которую бы я *не* пробрала! Ведь и Юрочка... минуточками... у него *почти* любящие глаза! Но у него – у меня такое чувство – нет сил сказать это, ему легче гору поднять, чем сказать это слово. Потому что ему нечем его поддержать, а у меня за горою – еще гора, и еще гора, и еще гора... – целые Гималаи любви, Марина! Вы замечаете, Марина, как все они, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, боятся сказать это слово, как они его *никогда* не говорят?! Мне один объяснял, что это... грубо... (фыркает) ... отстало, что: зачем слова, когда – дела? (то есть поцелуй и так далее). А я ему – «Э-э! нет! Дело еще ничего не доказывает, а слово – всё». Мне ведь только этого от человека нужно: лю-блю, и больше ничего, пусть потом что угодно делают, как угодно не любят, я делам не поверю, потому что слово – было. Я только этим словом кормилась, Марина, потому так и отошала.

О, какие они скупые, расчетливые, опасливые, Марина! Мне всегда хочется сказать: – Ты только – скажи. Я проверять – *не* буду. Но не говорят, потому что думают, что это – жениться, связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти. (Они и вторым не говорят, Марина, никоторым.) Точно со мной можно *не*-первому уйти!

Марина! Я – в жизни! – не уходила первая. И в жизни – сколько мне ее еще Бог отпустит – первая не уйду. Я просто *не могу*. Я всегда жду, чтобы другой ушел, все делаю, чтобы другой ушел, потому что *мне* первой уйти – легче перейти через собственный труп. (Какое страшное слово. Совсем мертвое. Ах, поняла: это тот мертвый, которого никто никогда не любил. Но для меня и такого мертвого нет, Марина!) Я и внутри себя никогда не уходила первая. Никогда первая не переставала любить. Всегда – до последней возможности, до самой последней капельки – как когда в детстве пьешь. И уж жарко от пустого стакана – а все еще тянешь, и только собственный пар!

Ах, знаете, вы будете смеяться – это была совсем короткая встреча – в одном турне – неважно, кто – совсем молодой – и я безумно в него влюбилась, потому что он все вечера садился в первый ряд – и *бедно* одетый, Марина! не по деньгам садился, а по глазам, и на третий вечер так на меня смотрел, что – либо глаза выскочат, либо сам – вскочит на сцену. (Говорю, двигаюсь, а сама все кошусь: ну, как? нет, еще сидит.) Только это нужно понять! Потому что это не был обычный влюбленный мужской *едящий* взгляд (он был почти мальчик) – это был пьющий взгляд, Марина, он глядел как замороженный, точно я его каждым словом и движением – как на нитке – как на канате – притягиваю, наматываю – это чувство должны знать русалки – и еще скрипачи, верней смычки – и реки... И пожары, Марина!.. Что вот-вот вскочит в меня – как в костер. Я просто не знаю, как доиграла. Потому что *у меня*, Марина, все время было чувство, что в него, в эти глаза – оступлюсь.

И когда я с ним, наконец, за кулисами (знаю, что это ужасная пошлость, но *всё* пошлость, как только оно *где*, и *скалы*, на которых сидели *девы* д'Аннунцио – ничуть не лучше!)... за этими несчастными кулисами поцеловалась, я ничего не чувствовала, кроме одного: спасена!

...Это длилось страшно коротко. Говорить нам было не о чем. Сначала я все говорила, говорила, говорила, а потом – замолчала. Потому что нельзя, я – не могу, чтобы в ответ на мои слова – только глаза, только поцелуй! И вот лежу утром, до-утром, еще сплю, уже не сплю, и вдруг замечаю, что все время что-то повторяю, да, – губами, словами... Вслушалась – и знаете, что это было: – *Еще* понравься! Еще чуточку, минуточку, секундочку понравься! – Ну, и? – Нет. Он – *не* смог. – Чего? – Еще-понравься. Не смог бы – даже если бы услышал. Потому что вы не думайте: я не его, спящего, просила – мы жили в разных местах, и вообще... – я в воз-дух просила, может быть – Бога просила, я просто заклинала, Марина, я сама себя заклинала, чтобы еще немножко вытянуть. – Ну, и? (с сияющими глазами:) Вытянула. Он не смог, я – смогла. Никогда не узнал. Все честь честью. И строгий отец генерал в Москве, который даже не знает, что я играю: я будто бы у подруги (а то вдруг вслед поедет, ламповщиком сделается?) – и никогда не забуду (*это* не наврала), и когда уже поезд трогался – потому что я на людях

никогда не целуюсь – поцеловала *его* розы в окне... Потому что, Марина, любовь – любовью, а справедливость – справедливостью. Он не виноват, что он мне больше не нравится. Это не вина, а беда. Не *его* вина, а *моя* беда: бездарность. Все равно, что разбить сервиз и злиться, что не железный.

А пьеса – когда мы так друг в друга влюбились – была Юрия Слезкина. Смешное имя? Как раз для меня. Мне даже наш антрепренер сказал: – Маленькая Сонечка, вы все плачете, вот бы вам замуж за Юрия Слезкина. (Деловито:) – А он, вы не знаете, Марина, – старик?

(Знаю, что разбиваю единство повествования, но честь – выше искусства.  
Это «еще понравься!» – мой второй плагиат.

Как та чахоточная, что в ночь  
Стонала: еще понравься!

И, дальше:

Как та чахоточная, что всех  
Просила: *еще* немножко  
Понравься!..

И – конец:

Как та с матросом – с тобой, о жизнь,  
Торгуюсь: *еще* минутку  
Понравься!..

Так, в постепенности, дана и сохранена, пронесена сквозь стихи и допроизнесена вся Сонечкина просьба. Ибо, будь Сонечка старше, она бы именно так – кончила.)

– Ну, Сонечка, дальше про Стаховича. Кроме поклонов о чем еще были эти уроки? – Обо всем. Например – как надо причесываться. – Женская прическа должна давать – сохранять – охранять форму головы. Никаких надстроек, волосы должны только – и *точно* – обрамлять лица, чтобы лицо оставалось – главным. Прямой пробор и гладкие зачесы назад, наполовину прикрывающие ухо: как у вас – Голлидэй, Соня. – Алексей Александрович! А ведь у меня... не очень гладко! – я, смеясь. – Да, но это – природные завитки, потому что у вас природная волна, и *рама* остается, только – немножко – рококо... Я говорю об общей линии: она у вас проста и прекрасна, просто – прекрасна. (О, Марина, как я в эти минуты гордилась! Потому что я чувствовала: он меня не только из тех, что перед ним, а из всех, что *за ним* выделяет!)... Еще о том, как себя вести, когда, например, на улице падает чулок или что-нибудь развяжется: – С кем бы вы ни шли – спокойно отойти и не торопясь, без всякой суеты, поправить, исправить беспорядок... Ничего не рвать, ничего не торопить, даже не особенно прятаться: спокойно, спокойно... Покажите вы, Голлидэй! Мы идем с вами вместе по Арбату, и вы чувствуете, что у вас спускается чулок, что еще три шага и совсем упадет... Что вы делаете?

И – показываю. Отхожу от него немножко вбок, нагибаюсь, нащупываю резинку и спокойно, спо-койно...

– Bravo, bravo – Голлидэй, Соня! Если вы, действительно, с *любым* спутником, а не только со мной (и у него тут такая чудесно-жалкая, насмешливая улыбка, Марина!)... старым учителем... сохраните такое хладнокровие...

Однажды я не удержалась, спросила: – Алексей Александрович, откуда вы все это знаете: про падающие чулки, тесемки, наши чувства, головы?.. Откуда вы нас так знаете – с головы до ног? И он, серьезно (ровно настолько серьезно, чтобы все поверили, а я – нет): – Что я все знаю – неудивительно; я старый человек, а вот откуда у вас, маленькой девочки, такие вопросы? Но всегда, всегда *я* показывала, всегда на мне показывали, на других, как *не* надо, на мне – как надо, меня мальчишки так и звали: Стаховичев показ.

– А девчонки – завидовали?

Она, торжествующе: – Лопались!! Это ведь была такая честь! Его все у нас страшно любили, и если бы вы знали, какие у нас матрешки. И вдобавок нахальные, напыженные! И – в каких локонах! (фыркает). – У *них* настоящие туфли, дамские.

– Но почему вы, Сонечка, неужели вы так мало зарабатываете?

Она, кротко: – У других мужья, Марина. У кого по одному, а у кого и по два. А у меня – только Юра. И мама. И две сестры. Они ведь у меня...

– Красавицы. Знаю и видела. А вы – Золушка, которая должна золу золить, пока другие танцуют. Но актриса-то – вы.

– А зато они – старшие. Нет, Марина, после папиной смерти я сразу поняла – и решила.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.